Дороги, которые нас выбирают: Одесса — Дальний Восток — Латвия — Израиль.

«ЭТОТ ПРАЗДНИК ПОРОХОМ ПРОПАХ...»

Какая страшная дистанция, в миллионы человеческих жизней, между двадцать вторым июня и девятым мая, от одной песни: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…» — до другой: «Это праздник со слезами на глазах».

В неизбывном далеке, в том самом 1970 году, юбилейно-победном, когда на мастеровитых перьях, как на веслах, мы шли морем лжи к правдивому слову, в редакции «Латвийского моряка» возникла идея скомпоновать сборник о войне «В годы штормовые» по принципу газетной рубрики «День первый — день последний»: вначале дать очерк о капитане Дувэ, погибшем двадцать второго июня 1941 года, а в конце...

Помнится, у меня тогда чуть не вырвалось: «Мой дедушка Аврум Вербовский умер девятого мая. Но не в сорок пятом. В шестьдесят первом».

Чуть не вырвалось...

Ох, не знал я, не догадывался, что и мой папа Арон умрет тоже девятого мая. Но уже не в Риге. В Израиле. Ровно через сорок лет после дедушки, в 2001 году. Сорок лет, сорок лет пустыни... Мистические сорок лет каждой еврейской судьбы. Я в сорок лет внезапно, словно по велению свыше, стал художником. В пятьдесят три года, спустя сорок лет после первого выхода на ринг, вновь надел боевые перчатки и стал чемпионом Иерусалима по боксу, затем и Израиля среди еврейских спортсменов. Этот мировой рекорд, установленный в вечном городе, продолжаю повторять.

А тогда... тогда в 1970-м, ничего не ведая о цифровом коде и предопределенности, я горько усмехнулся.

Что толковать, мой дедушка Аврум никак не укладывался в кассу метранпажа. Он был не из той войны. В восемнадцать лет пошел добровольцем на Первую мировую и вернулся в родную Одессу, на толчок, в 1917-м с простреленной в наступательном бою рукой.

Инвалид Первой мировой попросился и на Вторую, тоже добровольцем. Правда, уже не из Одессы-мамы, где на переломе 1921–1922 годов в топке великого голода сгорели от истощения его отец Шимон и новорожденный сынишка Мишенька. Малыш, в отличие от древнего цадика, скончался, можно сказать, в полном недоумении, обхватывая ручонками грудь своей мамы, впоследствии моей бабушки Иды, иссохшую — ни капли молока — грудь-кормилицу.

На Вторую мировую дед Аврум попросился из недр ГУЛАГа.

«Готов жизнь отдать за товарища Сталина...» — писал он простреленной рукой, притопывая в такт слов изувеченной на лесоповале ногой. Писал под диктовку уполномоченного органов, управляющих его подневольной долей. Просьбу насчет жизни за Сталина уважили. И досрочно, весной 1944-го, выпустили из Соликамска, щедрого на смерть концлагеря. Но медицинская комиссия забодала старого, под пятьдесят, солдата. Рука на перевязи. Нога, переломанная в колене упавшим деревом, вывернута диким образом, лицом к пятке, будто смотрит не на передовую, а в тыл.

И дед Аврум вместо фронта попал в Оренбург, тогда Чкалов, охранником на 245-й авиационный завод.

Здесь, в слесарном цехе, обе его дочки: Рива, моя мама, и Беба, ее сестра, жена Абрама Гросмана, тоже законного внука Молдаванки, вкалывали с опережением плана в «одесской бригаде жестянщиков» моего папы Арона Фроймовича. Эта славная семейка клепала подогревы и бензобаки для бомбардировщиков дальнего следования, которые, к слову, утюжили крыши Берлина. Им же за ратный труд выделялась на всех троих в заводской столовой одна тарелка «стахановского супа», где «крупинка крупинку догоняла». Суп полагался только бригадиру, то бишь моему папе Арону, а простые рабочие, жена его Рива и ее сестра Беба должны были давиться сухим хлебом. Впрочем, процесс насыщения был рационализирован, и суп зачастую использовался в качестве вкусового размягчителя для хлеба. Он так же, как и «стахановский суп», отпускался по карточкам, восемьсот грамм работающим, четыреста — иждивенцам и детям. А иждивенцем в этой «мишпухе» числилась разве что бабушка Ида, детьми же — ее младшая, девятилетняя, дочка Софочка, мои сестры: шестилетняя Сильвочка и трехмесячная Эммочка, скончавшаяся, правда, вскоре после получения карточки на питание от крупозного воспаления легких, а также, впритирку к ним, трехлетний Гришенька Гросман, умудрившейся родиться в Одессе под бомбами двадцать пятого июня 1941 года.

Чтобы не сдохнуть от щедрот государства, ломающего хребет нацизму с попутным исправлением сутулости своего народа, необходимо было найти Ангела-хранителя. На эту роль вызвался Гришенькин папа Абрам. Он устроился электриком на хлебокомбинат. И по этой причине приобрел связи, полезные для внедрения своих домочадцев, земных авиаторов, в пищевую промышленность. Одесская бригада жестянщиков моего папы Арона после дневной смены отправлялась на ночную. На комбинате они изготовляли железные формы для хлебной выпечки. Вознаграждением за труд служили обрезки хлеба, «позволительные для выноса через проходную». Эти обрезки шли в пищу, а истинный хлеб, получаемый по карточкам, на продажу. На вырученные от продажи хлеба деньги покупали картошку. А очистки от картошки, с «глазками» и без, сдавали для огородных и прочих нужд местным домохозяйкам. В обмен на катушку ниток. С помощью этих драгоценных ниток — золотого запаса России тех времен — моя бабушка Ида Вербовская на швейной машинке «Зингер» шила из старых юбок новые платья и курточки.

Товарно-денежные отношения нашей семьи с враждебным ей миром укреплял мой папа. За счет баяна, когда играл популярные мелодии на базаре, привлекая покупателей к прилавку с кустарными новинками ширпотреба бабушкиного производства. Или за

счет ботинок и сапог. Их он тачал, покачивая меня в люльке, в свободные от основной работы часы или в редкие свои выходные. А свободных часов у него тогда в Чкалове, на улице Ворошилова, 49, выпадало крайне мало, как, впрочем, и всю жизнь...

Или он вкалывал на заводе, по две смены. Или спорил с инженерами и технологами, отстаивая свои изобретения и рационализаторские разработки. Или, виртуоз баяна и аккордеона, выступал («давал те еще концерты!») — на сценических площадках Одессы, Москвы, Риги. Или сочинял музыку, в основном фрейлехсы, а к ним и поэтические тексты.

Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал, едва научившись ходить. Лет семи от роду он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что «за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб». Откуда пошел этот слух? Слух этот шел по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа шел в обнимку с пахучей сдобой по городу, все встречные спрашивали у него: «Где в этой жизни, мальчик, ты взял такой большой хлеб?» И он отвечал: «У Бенчика».

Что и говорить, реклама — двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, лишний раз убеждаясь в булочной: «За маленькую цену большого удовольствия не увидишь».

В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков.

В двадцать один, в 1934-м, он уже работал в Кремле...

В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве.

В 1933-м, в пору очередного голода в Одессе, он «повез» свою старшую сестру Бетю в Биробиджан.

Там намеревались создать родину для теплокровных евреев. Если Россия — родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край — не родина для евреев? «Родина! Родина!» — закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супового набора — костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарастить мясо на скелетном каркасе тела.

Оставив Бетю обживаться в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город — так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск-на-Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла из себя бессчетное количество землянок и великое множество замерзающих повсеместно — под землей, на земле и в воздухе — ударников труда. Папа сразу смекнул, что пламенные речи вербовщиков ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготовлять железные печки с выходной трубой-дымоходом — обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении.

«НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИ, В КОММУНЕ ОСТАНОВКА...»

Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где жри — не давись, все бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной силой жизни отупляющий зов смерти.

Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Степкой, тоже очухавшимся от кошмариков тифозного бреда, приступил к поискам

работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики. Обращаться по адресу...»

Обратились по адресу. Их приветили. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, ее не заделали, вот крыша у нас и поехала».

Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с семнадцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов.

Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак, оттиск конца девятнадцатого — начала двадцатого веков, можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов. Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Эти люди являли собой самых высокородных мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан.

Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от кого-нибудь, а от Самого... Кого?.. Честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?

Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Степкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Степке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перерыва приспело. Кушать хочется, а денег нету.

Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.

— Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуем на халяву, — предложил Степка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.

Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать.

Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском:

— Что вам подать, того-этого? Негоже хлебцем хрумкать по-сухому, без сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Степка.

— Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну ни копейки грошей!

— А денег и не треба, — расщедрилась девица. — У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.

— Неужто? Тогда!..

Степка заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он ни заказал, вспомнить — удавиться можно было в последующие голодные, а они всегда при советской власти голодные, годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Все заказал, что душе угодно. Живи — барствуй!

Помнится, пресекал я папу на этом «царском заказе» и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утесова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семена Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплат-

ных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно: «А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был бы по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян-Гуревич, на военном спецязыке МИГ, а пропал бы на темных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретенным мной «подогревам», бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай». А Герингу, который сказал, что съест свою шляпу, если хоть одна бомба упадет на Берлин, я бы эту шляпу засунул сначала в задний проход, потом в рот. Пусть скушает ее с нашей начинкой».

Какой начинкой? Одесской или нашей фамильной? Что имел в виду папа, этого я по природной скромности и по сей день не пойму.

Семейные истории, как и вселенские, не терпят сослагательного наклонения.

Арон, сын Фройки, вернулся в Одессу. Стал работать на заводе, а по вечерам играть на баяне в парке Шевченко. Влюбился в красавицу-медсестру Ривочку Вербовскую, закончившую школу на идиш, медицинский техникум на украинском и бегло говорящую по-одесски на русском — языке своего бессмертного земляка Пушкина. И сделал ей предложение, после того как она сделала ему — безболезненно! — укол.

Девушка не устояла в свои шаткие восемнадцать лет от предложения выйти замуж. Согласилась сразу, не подсчитывая на пальцах, выгодный жених или невыгодный. Прямой потомок царя Давида — гарантия качества хранилась в главной на Молдаванке синагоге — считался не просто выгодным, а прямо-таки завидным женихом. Мир повидал, себя показал. И не замухрышкой каким-нибудь показал-продемонстрировал, а представительным человеком. Вот эти его представительные параметры. Метр восемьдесят семь ростом, девяносто шесть килограммов весом, атлетическая фигура с накачанными на кровельных работах мышцами, чемпион Одесского порта по боксу 1931 года в тяжелом весе, популярный в городе музыкант. Начитан. В меру образован. Неразлучен с юмором. Ничего больше и не надо для полного счастья! А то, что до крайности близорук, носит очки с дикими диоптриями, так это тоже не во вред здоровью. И при желании меньше будет на других смуглянок заглядываться.

В 1937-м папа женился. В 1938-м родилась Сильвочка.

В 1940-м папа, дефилируя по Одессе сразу с двумя молодыми женщинами, женой Ривой и ее младшей сестрой Бебой, встретил у кинотеатра заводского приятеля, тоже белобилетчика, Абрашу Гросмана. Абраша хромал, правда, без особой выразительности, на правую ногу. Этот недостаток, при несомненных достоинствах левой ноги, он искупал внешними данными: роскошной гривой, обаятельной улыбкой, быстрым на различные комбинации умом. И все это великолепие увенчивала редкая по тем глинобитным временам, но чрезвычайно модная профессия электрика.

Совсем кстати у Абраши на руках оказались лишние билетики, а в грудной клетке щедрое на подарки сердце.

Абраша Гросман, «не отходя от кассы», тут же потерял голову от неземной красоты мадемуазель Бебы Вербовской. По выходе из сеанса сделал Бебе на месте, людном месте, между прочим, признание в нержавеющей до старости любви. И повел было ее мимо родительского дома в ЗАГС. Но тут им перегородил дорогу

дедушка Аврум Вербовский, уже с простреленной рукой, но еще не хромающий. Он увидел хромающего Абрашу, не представляя, что так будет выглядеть и его будущее после лесоповала, и, рассерженный по причине хромоты незваного жениха, вознамерился отказать ему в «поползновениях руки и сердца». Но... Если Абраша Гросман говорил: «Хочу жениться», он непременно женился. И он-таки женился на Бебочке Вербовской ровно в 1940 году, чтобы старший его сынок Гришенька исхитрился-выскользнул из материнского пузика прямо под немецкие бомбы — двадцать пятого июня 1941 года. Точно в тот день, когда мой папа Арон получил официальное письмо-извещение из Москвы, из Государственной фирмы грамзаписи, о том, что его фрейлехсы одобрены взыскательной комиссией, включающей в свои ряды чуть ли не Михоэлса, и обретут теперь новую, уже не нотную жизнь, будучи представлены на авторской пластинке, каковая имеет честь выйти в свет в декабре 1941-го...

Ну, а дальше?.. Дальше еще та музыка... Эвакуация. Южный Урал. МТС. 245-й авиационный завод. Передислокация в 1945-м в Ригу, где на улице Барбюса, 9 военный завод переиначился в 85-й ГВФ и разместился в цехах бывшего винно-водочного предприятия, что немало способствовало перевыполнению плана.

Дальше?.. Дальше, в 1947 году, двадцатого февраля, через восемь месяцев после появления на свет Ленечки, второго ребенка, Беба умерла из-за занесенной при родах инфекции, и моя мама Рива выкармливала его той же грудью, от которой отлучала меня незадолго до смерти сестры. Абрам Гросман, к слову мистическому в подверстку, пережил свою жену Бебу ровно на сорок лет, как мой папа дедушку Аврума, и плюс к тому еще шесть дней. Он умер в Таллине двадцать шестого февраля 1987 года. Но какой потаенный смысл в этих шести добавочных днях? Однако если представить себе, что он был старше Бебы на шесть лет, а на том свете не иначе, как день — за год, тогда все логически укладывается в какую-то недоступную нашему разуму систему, этакую космическую мозаику. Так это или не так, не нам судить. Нам — помнить!

Но вернемся в 1947-й, постоим, опустив голову, у заснеженной могилы Бебы Гросман (Вербовской), дочери солнечной Одессы, постоим, поеживаясь от промозглости, на Рижском еврейском кладбище под пасмурным небом. И пойдем потихоньку — шагом похоронной процессии — дальше...

Дальше? Дальше, в 1948 году, перед уничтожением еврейской культуры, Советская власть облагодетельствовала моего папу Арона знаком «Отличник Аэрофлота», приравненным в авиационной промышленности к иному ордену.

А в 1953-м, уже не пряча оскала саблезубого тигра, объявила его же, «не слезающего с Доски почета», вредителем. И намылилась отправить всех нас туда, куда Макар телят не гонял.

Бог помог. В Пурим. И Сталин скоропостижно отдал Ему (Богу) душу. А нас оставили сидеть в растерянности на подготовленных к выселению из квартиры чемоданах. По сути дела, оставили в живых. (Наверное, потому я и люблю этот праздник. Наверное, и мой сын Рон не случайно родился в Пурим. И не случайно здесь, в Иерусалиме. В день, когда обильно шел российский, можно сказать, снег. И не случайно в Пурим 1980 года. Сложим цифры. 1 + 9 + 5 + 3 = 18. 1 + 9 + 8 + 0 = 18. Восемнадцать на иврите, в буквенном значении, дает слово «Хаим», мое имя по-еврейски, значащее в переводе на доступный язык — «ЖИЗНЬ». Случайна ли череда этих совпадений. Кому как. Но, на мой взгляд, неслучайна. Да здравствует жизнь! Она тоже неслучайна, если ее можно назвать жизнью.)

Ну а дальше?.. Дальше... дальше... дальше...

Будь папа жив, он бы откликнулся: «Дальше живот не пускает». Но папы нет. Значит, мне в одиночку импровизировать дальше.

Дальше, в 1977 году, мои родители уехали из Риги в Израиль, в Кирьят-Гат, оставив на еврейском кладбище дедушку Фройку и бабушку Сойбу, урожденную Розенфельд, дедушку Аврума Вербовского и мою тетю Бебу Гросман, а на старом еврейском в Одессе — моих прадедушек и прабабушек Арн-Берша с женой и Шимона Вербовского с женой Эстер.

Здесь в Израиле папа нежданно для себя почти в восьмидесятилетнем возрасте стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.

Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой брат Боря, саксофонист, кларнетист и аранжировщик, создав Иерусалимский диксиленд, переозвучил папины фрейлехсы тридцатых годов на самый модерный лад. И повез их после триумфального представления на сцене Иерусалимской академии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фестиваль в Сакраменто, США. (Папа, если серьезно, в его тоне, говорить по существу проблемы, рекомендовал маэстро Боре сделать пересадку в Одессе, там лучше поймут и оценят «музыкального младенца шестидесяти нержавеющих лет». Оно и понятно. По его, папиным, убеждениям, на Дерибасовской, где открылася пивная, играли на трубе, медных кастрюлях дедушки его Арн-Берша производства, и даже двуручной пиле задолго до Нью-Орлеана. И причем не как-нибудь натощак, а в сопровождении диких кошачьих визгов. В Америку же все это музыкальное богатство завезли штатовские моряки, не знающие при наличии вороватых замашек, что еще более ценное можно украсть в городе, называемом жемчужиной у моря, когда в нем уже побывала на променаде Сонька Золотая ручка.)

Но факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, каким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и модерных ритмов, родилось новое джазовое направление «дикси-фрейлехс», и несло оно на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш отличительный знак.

Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав первый раз над Сакраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилендов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно (музыкантов по часу не отпускали с подмостков), и затем, согласно социологическому опросу, признаны там самыми популярными композициями, своего рода открытием фестиваля. И слушатели не раз и не два вызывали на бис «новорожденного», по их представлениям, композитора, преисполненного творческой смелости и молодого честолюбия. А он, «юный» и «преисполненный», находясь на пенсионном довольствии в Кирьят-Гате, узнавал об этих вызовах со слов Бори и его оркестрантов. Так было в 1991-м и в 1993-м, в 1996-м и в 1998-м, вплоть до 2001 года, когда папа, и захоти даже выйти на приветствия, не мог уже осуществить это позднее желание... по вполне уважительной причине.

Он умер девятого мая, ровно через сорок лет после моего дедушки Аврума, не дожив Всего Трое Суток до своего Дня рождения — до восьмидесяти восьми лет. И покоится невдалеке — по земным и небесным понятиям — от Иды Вербовской, жены дедушки Аврума и моей бабушки.

Воля небесная?..

Воля земная?..

Или скрытая воля войны?